



П. П. МУРАТОВ

Образы Италии. Флоренция

<Фрагмент>

ОТ САН МИНИАТО

...Per salire al monte
Dove siede la chiesa che soggioga
La ben guidata sopra Rubaconte,
Si rompe del montar l'ardita foga
Per le scalee che si fero ad etade
Ch'era sicuro il quaderno e la doga.
*Purg. C. XII [100–105]**

Эти слова Данте высечены на камне в начале высокой лестницы, поднимающейся от ворот Флоренции к Сан Миниато¹. Другие места Флоренции, названные в «Божественной комедии», также отмечены плитой и надписью содержащей стих Данте. Но нигде итальянский странник не вспоминает с таким волнением, как на этой лестнице, о великой душе, которая жила земной странницей

* ...Мы на холм идем,
Где церковь смотрит на юдоль порядка
Над самым Рубаконтовым мостом,
И в склоне над площадкою площадка
Устроены еще с тех давних лет,
Когда блюлась тетрадь и чтилась кадка...
(Чистилище. Песнь XII) (ит.). — Пер. М. Лозинского.

в Италии, «*che visesse in Italia peregrina*» (*Purg. C. XIII*)*. Образ Данте — это прежде всего образ странника; каждая итальянская дорога напоминает нам дороги его изгнаннических скитаний, каждое восхождение под небом Тосканы заставляет вспоминать путь, которым он шел на гору чистилища. Мы что-то повторяем вслед за ним, когда медленно поднимаемся по бесконечным каменным ступеням между двух рядов старых кипарисов. И взойдя наверх к Сан Миниато, мы останавливаемся и невольно глядим назад. «Там сели мы оба, обратившись лицом к востоку, в ту сторону, откуда поднялись, — ибо всякий с удовольствием смотрит на пройденный путь».

A seder ci ponemmo ivi ambedui
 Vòlti a levante ond' eravam saliti,
 Che suole a riguardar giovare altrui.
 (*Purg. C. IV [52–54]*)**

Церковь Сан Миниато и ведущую сюда лестницу Данте называет в двенадцатой песне «Чистилища». Он приводит ее затем, чтобы показать, как высоки и трудны для смертного были лестницы, иссеченные в склонах священной горы. Вспоминая ее, он опять вспоминает свою Флоренцию. В то время, когда складывались эти строки, он мысленно был здесь, у Сан Миниато. Его душевный взор летел отсюда над мостом «Рубаконтэ» и над всем городом, имя которого его горькая ирония скрывает в словах «*la ben guidata*»***. Так, это место поэмы доводит до нас горечь разлуки, испытанную Данте, и силу его мечты увидеть снова Флоренцию с высот Сан Миниато. Ему не суждено было дожить до такого счастья — счастья, которое стало слишком легким достоянием каждого из нас. Мысль об этом должна всегда сопутствовать, как тень былой великой печали, даже нашим обычным вечерним прогулкам на площадке вокруг бронзового Давида².

* «Что обитала пришельцей в Италии...» (Чистилище. Песнь XIII, 95–96) (*ит.*). — Пер. М. Лозинского.

** И здесь мы оба сели отдохнуть,
 Лицом к востоку; путник ослабелый
 С отрадой смотрит на пройденный путь.
 (Чистилище. Песнь IV) (*ит.*). — Пер. М. Лозинского.

*** «Юдоль порядка» (*ит.*). — Пер. М. Лозинского.

Нынешняя Флоренция, видимая от Сан Миниато, мало чем похожа на ту, к которой летело когда-то воображение Данте. За шестьсот лет не переменялись в ней лишь Сан Джованни³, лишь этот мост «Рубаконтэ» или «алле Грацие», да еще высокие темные стены францисканской церкви Санта Кроче. За мостом и вокруг церкви все стало другим, все говорит о новых столетиях и новых людях. Видя краснеющие купола собора и Сан Лоренцо⁴, мы задумываемся над сложной и превратной судьбой города, над его великолепной жизнью и над славой его бесчисленных гробниц. И все-таки сердце подсказывает, что эта Флоренция, та самая Флоренция Данте, святыня, — за которую он мог положить свою душу, суровую и нежную. В ней что-то навсегда осталось от тех времен, в чистоте и строгости ее очертаний, в синеве ее блаженной долины, в изгибе Арно, текущего с гор Казентина⁵. Она запечатлевается отсюда в одном взгляде, памятном и хранимом потом на всю жизнь. Нет, кажется, человека, в ком этот хорошо известный «общий вид» Флоренции не пробуждал бы чувства близости к высшей, чем земная, красоте.

Упомянув лестницу, ведущую к Сан Миниато, Данте говорит, что она была построена тогда, «когда государство верно держало всему счет и во всем меру». Данте обращался мыслью к прошлому, потому что оно воплощало для него мечту о добром правлении. Но вот пришло время, когда его век сам сделался прошлым — прекрасным и сияющим, как утренняя звезда. Для нас не важно, что «черные» гвельфы дурно управляли Флоренцией и что много достойнейших граждан было изгнано ими вместе с Данте и вместе с ним обречено на «горький хлеб и крутые лестницы» чужих домов. История не помнит такого зла, век политической страсти недолог. Время бледнит самые яркие краски событий и заглушает самые шумные споры. Политические заботы и чувства гражданина занимают много места в поэме Данте. Их точный живой смысл утрачен для нас, но никогда не исчезнет питавшая их энергия страсти. Распри гвельфов и гибеллинов, дела Черки и Донати⁶ вошли в величайшее из всех написанных на земле произведений поэзии. В его вечном свете потонула темная сторона вещей, правое слилось с неправым, доброе со злым. Стих Данте дал всему равное бессмертие, невзирая на то, что было вложено в него, — проклятие или благословение.

Нынешнему читателю «Божественной комедии» названия мест, связанных с судьбой поэта, имена людей, с которыми он

встречался, упоминание событий, которых он был свидетелем или о которых он слышал, внушают особенное, глубокое очарование. Вместе с ними в суровую и беспощадную тему поэмы вливаются притоки, берущие свое начало в жизни. На минуту тогда отходят жгущие воображение видения Ада или Рая, чтобы дать место образам, рожденным в мире и миру возвращаемым. Как раз такие строки больше, чем что-либо другое, сделали творение Данте народным. Италия вошла в него не как героический сюжет, не как пафос поэмы. Она была неотступно подле поэта во всех его мистических странствиях, наделяя его сравнениями, возбуждая воспоминаниями, давая вымыслу силу правды и слову зримую красоту. Благодаря этим строкам «Божественная комедия» как-то слилась с Италией. Без нее неполно все, что узнает здесь путешественник, и без Италии ее терцины не перескажут самой заветной их прелести.

Таких строк особенно много в «Чистилище». Самая атмосфера Чистилища ближе к нам, чем вечный мрак Ада или блистательные сферы Рая. Здесь все еще похоже на землю, и лишь от Стация Данте узнает, что здесь не бывает ни дождя, ни града, ни росы, ни облаков, ни радуги. Есть оттенок печали в том, как тень Стация вспоминает про радугу, «которая там так часто преобразует окрестность», «*Che di là cangia sovente contrade*» (*Purg.* XXI, 51). И этот оттенок, — след глубокой любви Данте к миру и к его простым чудесам, — нередко встречается в песнях «Чистилища». Едва ли в самом деле счастливыми кажутся поэту навсегда отделенные от земли души, которые он встречает здесь. Глубокую жалость вызывает в нем это «святое стадо», — «*la santa gregia*». Когда Форезе спрашивает его, почему он скрывает от теней, что он не тень, Данте отвечает:

... se tu riduci a mente
Qual fosti meco, e qual io teco fui,
Ancor fia grave il memorar presente.
(*Purg. C. XXIII [115–117]*)

«Тебе было бы еще тяжело вспомнить, каким ты был, когда мы знали друг друга».

Данте с улыбкой писал о своем старом друге, ленивце Бельаква, который не слишком спешил подниматься на священную гору. И перед самым порогом Чистилища он, Вергилий и толпа теней,

все они заслушиваются музыканта Казеллы, забывая даже о вечном спасении ради земных песней о любви.

Lo mio maestro e io e quella gente
Ch'eran con lui, parevan si contenti,
Come a nessun toccasse altro la mente.
(*Purg. C. II [115–117]*)*

Поэма Данте говорит, что даже у предела иной жизни наша душа бывает все еще обращена к земле. У самого входа в Чистилище новые созвездия не мешают поэту встретить вечер так, как он встречал его в своих скитаниях.

Era già l'ora che volge il disio
Ai navicanti, e 'ntenerisce il cuore
Lo dì, c'han detto ai dolci amici addio
E che lo novo peregrin d'amore
Punge, se ode squilla di lontano,
Che paia il giorno pianger che si more.
(*Purg. C. VIII [1–6]*)

«Был час, который заставляет грустить мореплавателей, их сердце умягчает день, когда они сказали „прости“ милым друзьям, — час, наполняющий любовью нового странника, когда он слышит далекий звон, и ему кажется, что это плачет умирающий день».

Флоренция внушила ему эту любовь к миру и к иным мгновениям короткой жизни, ради которых можно забыть даже о пути к блаженству. Не делает ли она более ценным существование каждого из нас, ее мимолетных гостей? Этот город, такой обыкновенный в своих лавках, новых домах, новых улицах, где-то хранит для каждого целый клад еще незнакомых чувств, еще неизведанных по тонкости впечатлений. Но даже обыкновенное скоро перестает здесь быть таким, по мере того как жизнь путешественника обра-

* Мой вождь, и Я, и душ блаженных стадо
Так радостно ловили каждый звук,
Что лучшего, казалось, нам не надо.
(Чистилище. Песнь II) (*ит.*). — *Пер. М. Лозинского.*

щается в поклонение и сам он из простого любопытного становится пилигримом, — любимое Данте слово!

Есть общее в том, как воспринимается Флоренция, с впечатлением от чтения «Божественной комедии». В обоих та же стройность — стройность великолепного дерева, — та же отчетливость и завершенность, та же гениальная легкость в великом. Камни Флоренции, так кажется, легче, чем камни, из которых сложены другие города. Происхождение и природа слов Данте кажутся иными, чем происхождение и природа обыкновенных человеческих слов. В самом коричневатом цвете здешних дворцов есть высшее благородство, — плащ такого цвета был бы уместен на плечах короля, скрывшего свою судьбу под судьбой странника. И подобно тому как бесконечную нежность внушают эпизоды, включенные в суровую повесть Данте, так трепетную прелесть приобретают иные минуты, скользнувшие в строгом и простом течении флорентийской жизни.

Одну из таких минут принес октябрьский вечер, подкравшийся незаметно, когда мы были в церкви Сан Никколо⁷ и рассматривали «Успение» Алессо Бальдовинетти. Оставив погружаться в тень цветочный саркофаг простодушного Алессо, мы вышли из церкви и скоро очутились за городскими воротами. Вместо того чтобы подниматься к Сан Миниато, мы пошли в гору направо, вдоль взбирающихся по ее хребту зубчатых стен Флоренции. С другой стороны этой узкой дороги тянутся оливковые сады. В тот влажный вечер чище светилось серебро их листьев, омытое теплым дождем. Мы поднимались тихо, глубоко дыша, вдыхая запас оливок, земли, влаги — крепкий запах флорентийской осени. Тихо навстречу нам опускались сумерки. День ушел и растворился в сиянии без блеска, которое было во всем — в светлом эфире неба, в серебре садов, в мокрых камнях старинных стен. Впечатление серафической прозрачности охватило душу с никогда не испытанной до тех пор силой. Глубокое молчание было нарушено лишь шорохом капель и падением маленьких созревших плодов. Было слышно, как бьется сердце, как входит в него, чтобы никогда более его не покинуть, любовь к Флоренции. <...>

...Поэма Данте есть создание его любви, и оттого она составляет гордость всех любящих. И оттого Флоренция до сих пор принимает явление каждой любви, готовая увенчать ее ветвями оливок и лавров, фиалками и розами, готовая разостлать на ее пути ковры серебряного света. Здесь нельзя поверить, что Беатриче Дантовой

поэмы была лишь идеей любви. Увидя ее снова в Чистилище, Данте восклицает:

Conosco i segni de l'antica fiamma.
(*Purg. C. XXX [48]*)

«Узнаю знаки древнего пламени». И что-то звучит в этих словах, отчего нельзя представить себе пламя, которым вновь вспыхнула душа Данте, бесцветным пламенем идейного горения. В этом «antica fiamma»* нам чудятся боль и счастье любви живой и явленной.

Свет любви Данте, божественный, как все, что связано с этим человеком, навсегда остался над Флоренцией, подобно прекрасной немеркнувшей заре. Благодаря этому, быть может, Флоренция стала местом веры и радости. Она заставляет верить каждого, что ее Дантова заря обещает и для него новый день. Каждый, кто смотрит на нее с высот Сан Миниато, принимает крещение во имя любви. И в его душе воскресает тогда Vita Nuova**.



* Древнем пламени (*ит.*).

** Новая жизнь (*ит.*).